

Т.В. Савина

НА ФОНЕ ПУШКИНА. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПУШКИНСКОГО ДИСКУРСА 1920–1930-х гг.

Анализируется процесс освоения советским культурным пространством литературного наследия XIX в. на примере пушкинского дискурса 1920–1930-х гг. Акцентируются изменения в семантическом поле ключевых понятий «демократический» и «революционный»/«пролетарский» для создания идеологических фильтров. Делается вывод, что именно за счет целенаправленного использования лингвистических инструментов задача по «советизации» дореволюционного литературного наследия была решена.

Ключевые слова: А.С. Пушкин; дискурс; советская культура; демократизация языка; оксюморон.

Постановка проблемы исследования

Уже на следующий день после своей смерти Александр Пушкин стал для русской культуры тем, кем он, по сути, был уже при жизни – «солнцем русской поэзии». Спустя двадцать лет Аполлон Григорьев сказал: «Пушкин – наше все», чем, собственно, положил начало непрекращающемуся пушкинскому дискурсу как в русской культуре, так и в исследованиях зарубежных славистов [1. С. 20]. За двести с лишним лет эти две формулы остаются неизменными в своем ядре, только по контуру обрастая новыми смыслами: от гоголевского «поэт и больше ничего» до «поэта-гражданина» советского литературоведения. На первый взгляд кажется, что такая интерпретация места и роли пушкинского наследия была непрерывной в ходе развития русской культуры в целом: от Белинского до Горького, от Горького до Лотмана, от Лотмана до Пушкинского Дома, при неизменной семантике – поэт как символ национальной культуры.

В действительности же в пушкинском дискурсе обнаруживается точка разрыва, которая пришлась на постреволюционное десятилетие, во время ломки всей культурной традиции, в попытке сформировать новую пролетарскую культуру, и даже больше – новую цивилизацию. Советский литературовед В.Я. Кирпотин писал, что между нами и Пушкиным лег Октябрьский рубеж [2. С. 42]. Чтобы задать вектор развития советской культуры, большевики должны были решить кардинальный вопрос отношения к литературному наследию Российской империи. Вариант полного усвоения дореволюционного культурного наследия был для большевиков неприемлем. Полный отказ также был невозможен, поскольку большевики в целом понимали, что сложно директивно игнорировать вековую культурную традицию, которая по определению обладает огромным запасом инерции. В результате новая власть, с ее восприятием культурной традиции как «культурного багажа», должна была произвести определенную сортировку, используя идеологические фильтры. Ретроспективно можно утверждать, что в течение первого десятилетия советской власти оформлялись общие принципы, на которых происходило усвоение «пролетарской культуры» некоторых концептов дореволюционной литературы. Два магистральных сюжета – демократичность художественного творчества XIX в. и концепт «поэта-

гражданина» – стали основой для адаптации дореволюционного литературного процесса к условиям советского культурного пространства. Именно поэтому в сфере внимания оказалась литература «золотого века» российской словесности, поскольку творчество писателей XVIII в. не было демократичным ни по темам, ни по языку, за исключением, пожалуй, Радищева с его «Путешествием из Петербурга в Москву». Литература же серебряного века была опасной как в отношении тем, религиозных мотивов и мистицизма, так и нечетко выраженной или не выраженной вообще гражданской позиции. В этом смысле именно Пушкин и его творчество стали козырной картой, которую разыграла новая власть в успешном освоении «советским настоящим» «русского прошлого» [3]. «Наследие Пушкина мы берем с собой в свой путь», как писал тот же В.Я. Кирпотин [2. С. 145].

Естественно, перенос концептов из одного идеологического пространства в другое не может быть прямым – требуется коренное изменение смыслов, привнесение в базовый концепт идеологической составляющей с помощью лингвистических средств. Именно поэтому самым эффективным и надежным инструментом идеологической проекции дореволюционной культуры в советское пространство стал язык, где за счет манипулирования смыслами можно было принудительно расширить семантическое поле ключевых понятий «золотого века» русской литературы: демократичность художественного творчества и гражданская позиция писателя.

Начиная с фундаментального труда Виктора Клемперера [4], взаимосвязь любого языка и идеологии широко обсуждалась исследователями [5]. Первые попытки системного анализа реакции русского языка на социальные потрясения были предприняты еще в 1923 г. С. Карцевским в работе «Язык, война и революция» [6]. В современных спорах вокруг «лингвистического поворота по-советски» (*Linguistic turn à la Soviétique* – термин, предложенный Е. Добренко [7]) историки и лингвисты уделяют больше внимания целям идеологических кампаний (см., например, [7, 8], чем анализу того, что именно делало подвижным семантическое поле и как именно значение слова получало идеологическую компоненту. Что касается исследования адаптации советской властью литературного наследия и непосредственно пушкинского творчества, то анализ, в основном, идет в двух

направлениях: освоение наследия классиков в рамках школьной программы, которое носило идеологический характер (см., например, [9]), и пропагандистские кампании канонизации А.С. Пушкина в 1930-е гг. (см., например, [10, 11]).

Задачей настоящего исследования является попытка проанализировать механизмы, которые действовали внутри русского языка, создавая новую систему значений, за счет чего в 1920-х гг. стало возможным «опролетаривание» творчества Пушкина в частности и всего литературного процесса XIX в. в целом, а в 1930-х – их «национализация» советской идеологией.

Советский пушкинский языковой дискурс – один из наглядных примеров тех изменений, которые происходили в русском языке в постреволюционную эпоху, когда создавался вариант русского языка, подчинявшийся новой системе значений, приписывая тексту смысл, изначально автором не заложенный и не предусмотренный. С этой точки зрения наиболее репрезентативным материалом являются не столько индивидуальные попытки словотворчества и словопотребления в оценке дореволюционной культуры отдельными пропагандистами, сколько приведенные в систему идеологические концепты истории литературы XIX в., представленные, в первую очередь, в «Литературной энциклопедии» в 11 томах, издававшейся в 1929–1939 гг. [12], и Малой советской энциклопедии 1928–1931 гг. [13], а также их трансляция широкому читателю средствами советской периодики¹.

«Княжеские пленники»²

Освоение дореволюционного культурного наследия началось сразу же после революции. В начале 1920-х годов, во время относительной свободы мнений, еще было возможно сосуществование различных точек зрения на литературное наследие: от экстремистского отрицания до снисходительного принятия. С одной стороны, звучали раздраженные комментарии Маяковского о том, что «чтивом советских масс классики не будут», потому что «все рабочие и крестьяне поймут всего Пушкина (дело нехитрое) <...> поняв, бросят читать и отдадут истории литературы» [15. С. 167]. С другой стороны, в 1924 г. шла подготовка Б.В. Томашевским однотомника произведений А.С. Пушкина. При этом необходимо отметить, что серьезных попыток полного отказа от литературной истории не было: «Вопрос о классиках. Не следует пополнять библиотеки полными собраниями сочинений классиков, как бы они ни были ценны в историко-литературном отношении» [16. С. 144]. То есть книги классиков были нужны, но, как утверждала Н.К. Крупская, «они вообще настолько относятся к далекому периоду, что могут быть интересны лишь частично» [17. С. 36], а именно интерес к классической литературе должен быть непосредственно связан с насущными интересами построения нового общества.

«Опролетарить» как биографии писателей, так и их отдельные произведения и вписать их в новую советскую культуру позволил естественный процесс демократизации литературного процесса, начавшийся

в первой половине XIX в. Понятие *демократичность* оказалось одним из самых гибких языковых концептов, который достаточно легко встраивался практически в любой конструкт советского языка. Широта семантического поля была безгранична, приобретение новых значений происходило безболезненно и незаметно за счет добавленного социального и политического контекста: «княжеских пленников», т.е. писателей-дворян «выпускали» в мир пролетарской культуры.

На первых порах «опролетаривание» происходило в основном на событийном уровне: не фальсифицируя реальных биографических фактов, тем не менее конструировался нужный образ с помощью ключевых концептов пролетарской идеологии 1920-х гг., добавленных в контекст. Одним из привнесенных значений была *бедность* (безденежность). Поскольку было невозможно не упоминать о дворянском происхождении, например Пушкина, то вопрос решался достаточно просто: нужно было добавить соответствующие определения: «оскудевшая барская семья», «разоренная вотчина Пушкиных – село Болдино», «жил главным образом на литературный *заработок*». Как резюмировал главный советский пушкинист Д.Д. Благой, «*демократизируясь сам, поэт демократизирует все элементы стародворянской литературы: организует новый, близкий к живому говору, “простонародный” <...> литературный язык; опрощает все “высокие” жанры 18 века*» [18. С. 65].

Вообще, этот прием широко использовался в описании биографии и происхождения почти всех русских писателей, оставленных новой властью в активе культурной традиции. Если семья была богатой, как, например, у Тургенева, то было обязательное указание, что «детство провел в усадьбе под *деспотическим гнетом матери-крепостницы*», которая превратила «в ад <...> жизнь сына» [19. С. 419]. Лев Толстой, чей графский титул было невозможно замолчать, в конце концов «*отказался от собственности*», дед его *разорился*, а он сам с братьями и сестрами остался *сиротой* [20. С. 301]. (Заметим, что на раннее сиротство, разорение семьи и деспотичность родни постоянно указывалось в биографии Максима Горького). Державин – из рядов «*бедного, служилого дворянства*», за что ему простили даже участие в подавлении пугачевского бунта [21. С. 205]. Достоевский вырос в семье «*умеренного достатка, покупаемого неустанным трудом*». «Осознавши в себе гения, *плебей остро осознал в себе и члена социально-униженной касты*» [22. С. 396]. Лермонтов был сыном «аристократки, вышедшей замуж за *бедного дворянина*» [23. С. 285]. Те же из писателей, которые по каким-то причинам не удовлетворяли строгим требованиям демократичности, получали противоположный контекст. Так, например, М.В. Ломоносов, объявленный идеологом «реакционных славянофилов», хотя и родился в семье рыбака, но рыбака *зажиточного* [24. С. 559].

Кроме того, *демократичность* того или иного писателя напрямую связывалась с тематикой произведений, из которых главное место отводилось теме тяжелого положения трудового народа. В сборнике рассказов об истории крепостного права, изданном для

детей в 1923 г., главными борцами «с крепостным правом в литературе» названы Д.В. Григорович («Антон Горемыка»), И.С. Тургенев («Муму»), М.Е. Салтыков-Щедрин («День в помещичьей усадьбе») и Н.С. Лесков («Тупейный художник»), изображавшие не только крестьянский быт, но и «классовую борьбу». Что касается Пушкина, то он, как и Гоголь, «сравнительно мало затронул крепостной вопрос» [25. С. 25], поскольку, видимо, ни крестьяне из «Дубровского», ни дядька Савельич из «Капитанской дочки» не соответствовали задачам изображения «ужасов крепостного права». Однако тематика произведений не исчерпывалась крестьянским вопросом: ценным считалось любое произведение, касавшееся социологических аспектов века, предшествовавшего революции.

Тематические рамки естественным образом диктовали выбор языковых средств для определения общественной позиции писателей: от оппозиции царской власти до прямого призыва к революции. Понятие демократичности обязательным образом включало в себя семантику *противостояния*, что достигалось широким использованием глаголов с экспрессивной семантикой: *клеимил, обличал, ненавидел, презирал*, и освобождало писателя от непосредственной связи со средой его происхождения. Поэтому писатели-дворяне, в отличие от разночинного поколения 1860-х гг., были в конфликте не только с властью, но и со своей средой. Конфликт с «высшим светом» Пушкина, или *чуждость* помещичьему укладу Толстого, *враждебность* и *презрение* к буржуазии Салтыкова-Щедрина – тем или иным образом, но семантика неприятия социальной среды акцентируется практически при любом обращении нового, советского, читателя к наследию дореволюционной культуры.

Таким образом, *обедневший* писатель-дворянин, находившийся в *конфликте* со своей средой, писавший о *трудовом народе*, вплотную приближался к писателям-разночинцам, демократичным по определению, что вполне укладывалось в ленинскую схему «трех этапов освободительного движения». Как оказывалось, не так уж «страшно далеки были они от народа». *Демократизм* привел к общему знаменателю и дворянскую, и разночинную литературу XIX в. и подчинил их сначала пролетарской, а потом – советской.

«Плохое прошлое» и «хорошее прошлое»

К середине 1930-х гг. постепенно сложилась единая интерпретация литературных процессов, происходивших в XIX в., направленная на обоснование культурной преемственности в развитии русской литературы, которая нашла «свое вершинное воплощение в литературе социалистического реализма, вообразившего в себя все лучшее, что было выработано предшествующими веками» [9. С. 81]. Пушкинский дискурс 1930-х гг. стал несущей конструкцией телеологической модели литературного процесса, при этом процесс изменения смыслов слов под давлением экстралингвистических факторов стал глубинным и все более тяготел к созданию канона.

В 1937 г., в год торжеств по случаю 100-летия со дня смерти поэта, Гослитиздат выпустил «Памятку» –

сборник основных материалов для подготовки докладов о творчестве Пушкина [26]. В концептуальный раздел «Памятки» вошли передовица «Правды» от 1935 г. «Великий русский поэт», незаконченная статья Максима Горького «О Пушкине» и статья В.Я. Кирпотина «Наследие Пушкина и коммунизм». В этих программных статьях всячески подчеркивался уже закрепившийся в дискурсе демократизм пушкинского творчества, однако акценты были расставлены иначе. В семантическое поле понятия «демократизм» было добавлено значение *наш*, что позволяло самым естественным образом связать всю культурную традицию воедино простым приемом метонимического переноса, когда на прошлое «проецируется то, что принадлежит сегодняшней реальности» [3. С. 17]. *Наш* значит «нынешний», «сегодняшний», существующий в советском пространстве. *Наш* Пушкин с помощью метонимического отождествления сделал *нашей* всю дореволюционную культурную традицию.

Одним из наиболее настойчиво продвигавшихся посылов был «Пушкин – создатель литературного русского языка», которым четко определялась принадлежность Пушкина к русской культуре на основании того, что главные произведения были написаны им на русском языке – на *нашем* языке, «при помощи которого мы еще и сегодня выражаем идеи обновленной социализмом страны» [26. С. 43]. Более того, процесс реформирования русского языка интерпретировался как активная революционная деятельность, с помощью которой «<...> необходимо преобразовать Россию подобно тому, как Карамзин и Пушкин творческой литературной деятельностью сформировали русский язык» [26. С. 62]. Кроме того, *наш* подразумевало «доступный», «понятный всем», т.е. «обращенный к народу» [26. С. 92], и на этом основании – «принадлежащий всем», как, собственно, не только духовное, но и все материальное, что было национализировано Советской властью. И, наконец, *наш* значит «лучший». «От Пушкина ведут родословную *лучшие наши поэты*» [26. С. 11] – эта формула подразумевала довольно широкий контекст, который даже не требовал расшифровки. На этом основании «Львом Толстым *нашего* времени» считался Максим Горький, а Маяковский рассматривался как «Пушкин *нашего* времени» [9. С. 81]. *Наш* включал в себя весь спектр значений, от происхождения до мировоззрения: *наша лучшая* в мире литература, *наша* страна, тоже, конечно, *лучшая*, а «*наша* демократия неизмеримо шире и свободнее любой буржуазной демократии» [26. С. 143].

Противопоставление *наше* – не *наше* автоматически исключало все иное: если *наше* «хорошее прошлое» принадлежит нам, то от «плохого прошлого» мы отказываемся. Так, например, вопрос о дворянском происхождении Пушкина теперь решался иначе: «Мы должны уметь отделить от него то, что в нем случайно, то, что объясняется условиями времени и личными, унаследованными качествами, – все дворянское, все временное – это не *наше*, это *чуждо* и не *нужно* нам», – писал Максим Горький в незаконченной статье о Пушкине [26. С. 35]. Яркая выраженная оценочность в семантике слова *наш* приобрела дополнительную категорию времени: *наше* время и *то*

время; в *нашем* времени завершились социальные процессы, начавшиеся в *том* времени, что позволило провести четкую границу между «хорошим» и «плохим» прошлым. О том, что контекст конструировался намеренно, свидетельствует постоянное наличие в нем качественных прилагательных с антонимичным значением: «затхлое», «мрачное» время «жестокой реакции» прошлого противопоставлялось «светлому», «радостному», «полному надежд» настоящему.

«Дворянские революционеры»

С 1930-х гг. начинается целенаправленная мифологизация дореволюционного прошлого, основным инструментом которой стали языковые средства. Необходимость каким-то образом совместить в едином идеологическом пространстве культурную традицию имперской России и социалистическое общество дала толчок к возникновению в языке оксюморонов, с помощью которых новая власть номинировала явления, не совместимые семантически, но выполнявшие прагматическую функцию освоения предшествующей традиции. В процессе номинации антонимия снималась за счет того, что идеологическая компонента одного слова целиком нейтрализовала идеологическую компоненту другого. Это происходило за счет мощной положительной коннотации одного из слов, создавая новую номинацию, которая актуализировалась только в определенном контексте.

Очевидным примером коннотативного оксюморона, стихийно появившегося в языке в начале 1920-х гг., можно назвать сочетание прилагательного *красный* в его идеологическом значении «относящийся к революционной деятельности», и существительного, номинирующего реалии «старого мира». Так, словосочетание *красная профессура* – пример оксюморона, соединившего в себе должность преподавателя университета в Российской империи, имевшего классный чин, и советское учебное заведение – Институт красной профессуры. Лев Троцкий в речи, обращенной к слушателям курсов Военной администрации, в сентябре 1918 г. назвал их *красными офицерами*, что, учитывая отмену чинов и званий, было явным оксюмороном [27. С. 240], как и номинация *красный генерал* в отношении военных специалистов, перешедших на сторону революции в отличие от генералов царской армии (см., например, [28]). Кроме того, прилагательное *красный* в сочетании с антонимичным понятием использовалось для выражения иронии. Так, *красным графом* Алексей Толстой стал после возвращения из эмиграции, хотя позже вошло в обиход словосочетание «советский граф», имевшее несколько иной смысл и апеллировавшее к зародившейся советской номенклатуре (см., например, [29]).

Прагматика оксюморонов с прилагательным *комсомольский* иная. Первые *комсомольская пасха* и *комсомольское рождество* зародились в начале 1920-х и проходили в рамках антирелигиозных кампаний [30]. Сочетание несочетаемых понятий церковного праздника и коммунистической молодежной организации имело целью трансформировать суть старых праздников и придать им новые формы в «новом быте».

Один из первых идеологических оксюморонов в отношении литературного наследия – слова Ленина о Льве Толстом: «Его *мужицкий* голос, *мужицкая* мысль, настоящий *мужик* в нем. До этого *графа* подлинного *мужика* в литературе не было» [31. С. 255]. *Граф-мужик* прочно закрепился в советском идеологическом пространстве, что в немалой степени нивелировало не приемлемый новой культурой религиозный посыл толстовского творчества. Кстати говоря, ленинское словотворчество нередко отличалось стремлением соединить антонимичные значения. Ведь, строго говоря, и «деревенская буржуазия», и «деревенский пролетариат» по сути являются оксюморонами, соединяя в одном понятии разные области значения: буржуазию и пролетариат как городское население и деревню на основании владения/отсутствия собственности. Интересно, что во избежание путаницы и неверных толкований уже к 1930-м гг. в обиход прочно вошли другие слова: «кулак» заменил «деревенскую буржуазию», а «бедняк» – «деревенский пролетариат» [32].

Однако наибольший потенциал в процессе освоения дореволюционного наследия получило слово *революционер/революционный*, обладавшее универсальной семантикой радикального изменения в развитии общества, природы или познания. Словарь Брокгауза и Ефрона (1899) слова «революционер» не содержит вообще, «революцию» толкует как «движение, обращение, круговращение», приводит значение в политике и истории – «полный <...> переворот во всем государственном и общественном строе страны», и подводит итог – «очень часто также говорят о революции в идеях, умах, в литературе, в науке» [33]. Малая советская энциклопедия (1931) уже трактует понятие «революция» с точки зрения диалектического материализма [13. С. 231–236], а «революционер» получает однозначное толкование – «участник революционного движения, деятель революции» [13. С. 223]. К 1930-м гг. слово прочно обросло политическими коннотациями, связывавшими его семантику с событиями 1917 г. Поэтому нет ничего удивительного в том, что идеологическая компонента значения этого слова могла легко нейтрализовать значение любого другого элемента словосочетания и придать ему новый смысл. Более того, кроме непосредственного участия в составе новых словосочетаний, *революционер* и его производные оказывали мощное воздействие на окружающий контекст. В этом случае можно говорить о том, что антонимия и, соответственно, сопоставление противоречивых понятий возникало только за счет определенного контекста, намеренно сконструированного.

Например, одной из ключевых исторических фигур военного прошлого имперской России, вписанных в новую историю, стал А.В. Суворов. Так, в отзыве на биографию Суворова рецензент распекает автора за то, что тот назвал Суворова «убежденным монархистом»: «Это замечание по меньшей мере неуместно. Напротив, было бы не парадоксально сказать, что в лице Суворова мы встречаемся с *революционером* в науке, *революционером* и протестантом по своему складу характера» [34. С. 57]. *Фельдмаршал-солдат* и *революционер военного искусства* – два

примера наиболее типичных оксюморонных словосочетаний, номинативного и контекстуального, превративших князя и монархиста в героя «нового времени».

Революционные настроения можно было приписать практически любому писателю или поэту дореволюционного времени с помощью специально организованного контекста. Например, весьма показательна характеристика творчества П.П. Ершова: «Сам Ершов совсем не был *революционером*, но, стремясь сохранить дух настоящей народной сказки, не мог обойти тех ее мест, где высмеиваются царь, его суд и царские власти» [35. С. 4]. Что же говорить о представителях революционно-демократической критики, если уже в самом определении содержится их «оправдание». Как писали в передовице «Пионерской правды», посвященной биографии В.Г. Белинского «всякий, внимательно прочитавший последние статьи Белинского, оставляет их в глубоком убеждении, что если бы смерть помедлила, великие учителя и вожди человечества – Маркс и Энгельс нашли бы в Белинском верного ученика и последователя» [35. С. 2]. Очевидно, что такое словоупотребление имело спекулятивный характер, как намеренное выстраивание перед неискушенным читателем единого движения общественно-политической мысли к победе социализма.

Подобным же образом были реабилитированы декабристы. В интерпретации нового времени «*дворянский революционаризм декабристов*», естественно, не учитывал ни идеи декабристов о преобразовании страны в конституционную монархию, ни сохранение принципа помещичьего землевладения, а был оставлен в чистом виде как «боровшихся против самодержавия *дворянских революционеров* – декабристов» [26. С. 59].

Апогеем конструирования советского идеологического контекста вокруг имени Пушкина стала формула, провозглашенная В.Я. Кирпотинным – «Пушкин и коммунизм». «Гармоничности» Пушкина, о которой непрестанно твердил весь пушкинский дискурс, начиная с 1840-х гг., было навязано иное значение: «Ведь Пушкин – провозвестник такого драгоценного, так заботливо защищенного коммунизмом личного начала. Ведь Пушкин искал то, что нашел коммунизм: условия равновесия и гармонии личного начала и общественного» [26. С. 146–147], превратив «гармонию» таким образом из категории поэтики в идеологическое понятие.

В пушкинских торжествах 1937 г. был использован весь набор языковых средств с тем, чтобы закрепить за Пушкиным первое место в советском культурном пространстве. Первым делом было зафиксировано идейное влияние декабристов: революционные взгляды Пушкина «сложились под непосредственным влиянием окружавших его членов Южного тайного общества» [26. С. 201]. Однако, по мысли В. Кирпотина, «ограниченность *революционных* устремлений Пушкина <...> определенными историческими границами вовсе не умаляет их значения» [26. С. 63], т.е. в *то* время Пушкин не понимал или еще не мог понять, недооценивал или просто не знал тех основополагающих идей, которые ясны и понятны в *наше* время. Тем не менее даже недостаток революционности у Пушкина можно было затушевать, целенаправленно спекулируя на факте гибели поэта на дуэли.

В 1920-е гг. в событийно-биографическом описании творчества Пушкина его гибель на дуэли интерпретировалась как результат светской интриги: «...необходимость числиться на придворной службе, обращаться за денежной помощью к царю – превратили последние годы жизни в длительную агонию <...> Вокруг Пушкина завязалась сложная светская интрига, <...> в результате произошло столкновение между Пушкиным и Дантесом, <...> закончившееся дуэлью, в которой Пушкин был смертельно ранен» [18. С. 62], – писал Д.Д. Благой в статье, посвященной Пушкину, в Малой советской энциклопедии в 1931 г. Примерно таким же образом описывается гибель Пушкина в «Литературной энциклопедии»: «Пушкин дрался с Дантесом на дуэли, был тяжело ранен и умер 29 января». Однако в 1935 г., в момент выхода тома энциклопедии в свет, в статье появилось весьма существенное добавление – «Поэт, чьи великие творения явились провозвестниками новых социальных отношений, *был убит* реакционной системой николаевской России» [36. С. 378]. Очевидно, что в семантическом поле слова *гибель* и его производных *погибать* и *погибший* произошел важный смысловой сдвиг.

Одна из важных сем в понятии *гибель* – «насильственная смерть», входившая в значение этого слова изначально, стала доминировать за счет добавленного идеологического контекста, который указывал на действующее лицо: «царский режим», «николаевская Россия», «самодержавие», «царь», «великосветское общество». В советском идеологическом пространстве с помощью метафорического переноса гибель Пушкина стала считаться *убийством* не частным лицом, а государством, что стало основанием для создания одной из самых долгоиграющих метафор в советском языковом дискурсе – *убитый/погибший поэт-гражданин* как жертва царского режима.

Интересно, что профессиональные исследования советских пушкинистов 1930-х гг., посвященные последним дням Пушкина, имеют достаточно нейтральные названия, как, например, труд П.Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» (1928) или небольшая брошюра Б.Л. Модзалевского, Ю.Г. Оксмана и М.А. Цявловского «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина» (1924). Однако в советских средствах массовой информации, предназначенных для широчайшего круга читателей, заголовки публикаций о дуэли Пушкина направлены на формирование четкого и однозначного отношения к смерти поэта как к убийству (например, статьи того же П.Е. Щеголева «Убийцы Пушкина» в газете «Вечерняя Москва» [37, 38]).

Вообще, метафорическое отождествление смерти как результата общественно-политической конфронтации стало одним из самых продуктивных в освоении дореволюционного культурного наследия. Даже если смерть протагониста была естественной, как, например, А.В. Суворова, все равно находились способы обвинить в этом царский режим, как писалось в биографии Суворова, «в сущности, *зверски добитого Павлом I*, не постеснявшимся подвергнуть престарелого, больного фельдмаршала унижительным оскорблениям и мораль-

ным пыткам» [34. С. 57]. Самоубийство Радищева интерпретировалось как ответ властям на угрозу ссылки: «Вся последующая деятельность Радищева доказывает, что он был и умер *революционером*» [39. С. 492]. Конфронтация с властями также была одной из причин смерти Салтыкова-Щедрина: «До последней минуты он оставался *борцом*, несмотря на горькое чувство “обреченности”, одиночества, которое охватило его в реакционные 80-е гг.» [40. С. 530]. Что касается декабристов, совершивших попытку государственного переворота в пользу конституционной монархии и казенных, то их напрямую называли *жестокими*, теми, «кто помогал строить новую жизнь и кто *погибал за освобождение трудящихся*» [41. С. 5]. Декабристы, как и Пушкин, оказались в едином ряду вместе с героями революции 1917 г., с которыми точно так же связывался концепт жертвенной гибели.

Заключение

Таким образом, под давлением идеологии внутри русского языка, а в частности профессионального языка

истории культуры, сформировался специфический языковой инструментарий, обслуживавший нужды государственного заказа. Язык использовался не столько для научного изучения и освоения культурной традиции, сколько для обоснования культурной преемственности между имперской Россией XIX в. и советской эпохой, что было продемонстрировано на примере «советизации» личности и творчества А.С. Пушкина.

Одним из основных инструментов адаптации генеральных концептов дореволюционного культурного опыта в советское идеологическое пространство стало намеренное расширение семантического поля ключевых понятий с помощью искусственно сконструированного контекста. Это создавало простор для тематических спекуляций и, в конце концов, позволило мифологизировать практически любой феномен российской дореволюционной культуры. Несмотря на внутреннюю противоречивость советского пушкинского дискурса, о чем наглядно свидетельствует оксюморонная природа его основных концептов, задача по «советизации» Пушкина была решена за счет целенаправленного использования языковых средств.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В состав редакционной коллегии «Литературной энциклопедии» входили, с одной стороны, народный комиссар просвещения А.В. Луначарский, а с другой – литературоведы и историки литературы, такие как, например, В.Ф. Переверзев и И.М. Нусинов. Состав отдела литературы и искусства Малой советской энциклопедии возглавлял советский литературовед-марксист И.И. Лебедев-Полянский.

² В поэме А. Безыменского «Комсомолия» в главе «Клуб» комсомольцы приходят в библиотеку: «Библиотекарь и двое других, как комиссары по тюрьмам, с обходом. / наших друзей / Среди этих книг / И политических / Нам – на свободу! / Пушкин и Гоголь, / Бальзак и Шекспир... / – Братцы – Плеханыч! / – Встречаем любовно! / Княжеских пленников выпустим в мир... / Библия? / Снова / В тюрьму! / Уголовный!» [14. С. 21].

ЛИТЕРАТУРА

1. Григорьев А.А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина / под ред. [и с вступ. ст. В.Ф. Саводника]. М. : Типолитография т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1915. Вып. 6. 81 с.
2. Кирпотин В.Я. Наследие Пушкина и коммунизм // А.С. Пушкин. 1837–1937. Памятка. Статьи и материалы для доклада. Л. : Гослитиздат, 1937. С. 42–158.
3. Безансон А. Русское прошлое и советское настоящее / пер. и общ. ред. А. Бабича ; вступ. ст. Михаила Геллера. London : Overseas publication interchange LTD, 1984. 387 с.
4. Клемперер В. Язык Третьего рейха: Записная книжка филолога / пер. с нем. А.Б. Григорьева. М. : Прогресс-Традиция, 1998. 381 с.
5. Алтунян А. Lingua Tertii Imperii versus Lingua Sovietica («Если двое делают одно и то же...») // Знамя. 2000. № 8. С. 192–201.
6. Карцевский С.И. Язык, война и революция. Берлин : Рус. универс. изд-во, 1923. 72 с.
7. Добренко Е. Linguistic turn à la Soviétique: The Power of Grammar, and the Grammar of Power // The Vernaculars of Communism: Language, Ideology and Power in the Soviet Union and Eastern Europe / Ed. by Petre Petrov and Lara Ryazanova-Clarke. London; New York, 2014. P. 19–39.
8. Сандомирская И. Язык-Сталин: «Марксизм и вопросы языкознания» как лингвистический поворот во вселенной СССР // Landslide of the Norm : Language Culture in Post-Soviet Russia / ed. by I. Lunde and T. Roesen. Bergen, 2006. P. 263–291.
9. Павловец М. Школьный канон как поле битвы. Часть первая: историческая реконструкция // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2016. № 2. С. 73–92.
10. Муравьева О.С. Образ Пушкина: Исторические метаморфозы // Легенды и мифы о Пушкине : сб. ст. М. : Академический проект, 1995. С. 113–133.
11. Карпенко Г.Ю., Карпенко Л.Б. «Юбилейные» языковые клише о Пушкине, или поэт на службе у государства // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2016. № 4. С. 72–79.
12. Литературная энциклопедия : в 11 томах. Издательство Коммунистической академии (тома 1–5); «Советская энциклопедия» (тома 6–9); «Художественная литература» (тома 10–11). М., 1929–1939.
13. Малая советская энциклопедия : в 10 т. М. : ОГИЗ РСФСР, 1928–1931.
14. Безыменский А. Комсомолия. Страницы эпопеи. М. ; Л., 1928. 60 с.
15. Маяковский В.В. Вас не понимают рабочие и крестьяне // Маяковский В.В. Полное собрание сочинений : в 13 т. М. : Худ. лит., 1955–1961. Т. 12. Статьи, заметки и выступления : (Ноябрь 1917–1930). 1959. С. 164–170.
16. Проскурякова Е.Ф. Принципы комплектования библиотек книгами. // Труды первого библиотечного съезда РСФСР. 1–7 июля 1924 года. Избранные материалы. СПб. : Российская национальная библиотека, 2014. С. 139–151.
17. Крупская Н.К. Заключительное слово // Труды первого библиотечного съезда РСФСР. 1–7 июля 1924 года. Избранные материалы. СПб. : Российская национальная библиотека. 2014. С. 23–37.
18. Благый Д. Пушкин Александр Сергеевич // Малая советская энциклопедия : в 10 т. М. : ОГИЗ РСФСР, 1928–1931. Т. 7. С. 62–66.
19. Поспелов Г. Тургенев // Литературная энциклопедия : в 11 т. М., 1929–1939. Т. 11. С. 419–439.
20. Попов П., Юнович М. Толстой Л.Н. // Литературная энциклопедия : в 11 т. М., 1929–1939. Т. 11. С. 301–345.
21. Благый Д. Державин // Литературная энциклопедия : в 11 т. М., 1929–1939. Т. 3. С. 205–221.
22. Переверзев В., Риза-Задэ Ф. Достоевский Ф.М. // Литературная энциклопедия : в 11 т. М., 1929–1939. Т. 3. С. 396–410.
23. Лелевич Г. Лермонтов // Литературная энциклопедия : в 11 т. М., 1929–1939. Т. 6. С. 285–301.
24. Тимофеев Л. Ломоносов // Литературная энциклопедия : в 11 т. М., 1929–1939. Т. 6. С. 559–565.

25. Крепостное право : Сборник рассказов для детей старшего возраста / под ред. Е. Тумской. М. ; Пг. : Гос. изд-во, 1923. 370 с.
26. А.С. Пушкин. 1837–1937. Памятка. Статьи и материалы для доклада. Л. : Гослитиздат. 1937. 358 с.
27. Троцкий Л. Красные офицеры // Троцкий Л. Сочинения. Т. 17, ч. 1. М. ; Л. : Госиздат, 1926. С. 240–241.
28. Познанский В.С. Сибирский красный генерал. Новосибирск : Наука, 1972. 269 с.
29. Никитин Е.Н. Советский граф – Алексей Толстой. М. : Деком, 2020. 388 с.
30. Шмелев С.А. Красное «комсомольское рождество» и проблема формирования нового быта в начале 1920-х годов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Самара, 2015. Т. 17, № 3. С. 92–99.
31. Горький М. Литературные портреты / Горький М. Собрание сочинений в 18 т. М. : Гослитиздат, 1963. Т. 18. С. 253–285.
32. Савина Т.В. «Пролетарии» и «буржуи»: иноязычная политическая лексика в крестьянских «письмах во власть» 1920-х годов // Россия XXI век. 2017. № 6. С. 104–117.
33. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1899. Т. 27. С. 436–437.
34. Ходаков В.Я. Биография Суворова // Детская литература. 1938. № 17. С. 54–58.
35. Пионерская правда. 1936. № 79. С. 2, 4.
36. Храпченко М., Цейтлин А., Нечаева В. Пушкин А.С. // Литературная энциклопедия : в 11 т. М., 1929–1939. Т. 9. С. 378–450.
37. Щеголев П.Е. Убийца Пушкина : Новый взгляд на историю дуэли // Вечерняя Москва. 1927. № 234, № 235.
38. Щеголев П.Е. Убийцы Пушкина // Минувшие дни. 1927. № 1. С. 111–130.
39. Бочачер М. Радищев // Литературная энциклопедия : в 11 т. М., 1929–1939. Т. 9. С. 492–499.
40. Лаврецкий А. Салтыков-Щедрин // Литературная энциклопедия : в 11 т. М., 1929–1939. Т. 10. С. 502–530.
41. Пионерская правда. 1925. № 38. С. 5.

Статья представлена научной редакцией «Филология» 17 августа 2021 г.

With Pushkin at the Background. The Linguistic Aspect of Pushkin's Discourse of the 1920s–1930s

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2021, 470, 31–38.

DOI: 10.17223/15617793/470/4

Tatiana V. Savina, Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: tsavina2005@mail.ru

Keywords: Pushkin; discourse; Soviet culture; democratization of language; oxymoron.

The article focuses on the analysis of linguistic means of adapting the literary heritage of the 19th century by the Soviet cultural space using the example of Pushkin's discourse of the 1920s–1930s. At first glance, it seems that the interpretation of Pushkin's heritage was continuous in Russian culture throughout the centuries with the same semantics: the poet as a symbol of national culture. However, in Pushkin's discourse, there is a breakpoint that occurred in the post-revolutionary decade, during the breakdown of the entire cultural tradition in an attempt to establish a new proletarian culture. In order to set the vector for the development of Soviet culture, the Bolsheviks had to solve the cardinal question of their attitude to the literary heritage of the Russian Empire. The option of full assimilation of the pre-revolutionary cultural heritage was unacceptable for the Bolsheviks. A complete refusal was also impossible since the Bolsheviks as a whole understood that it was difficult to ignore the age-old cultural tradition. As a result, the new regime, with its perception of the cultural tradition as “cultural baggage”, had to use ideological filters for this baggage. From this point of view, the most representative source is the ideological concepts of the history of the 19th century literature presented as a system in the *Literary Encyclopedia* in 11 volumes (1929–1939) and in the *Small Soviet Encyclopedia* (1928–1931), as well as the ways of communicating the concepts to the broad Soviet audience. Pushkin's Soviet discourse is the most indicative example of the changes that occurred in the Russian language in the post-revolutionary era when a version of the Russian language started obeying a new system of meanings and attributed to the text a meaning that was not originally implied or intended by the author. One of the instruments for adapting the pre-revolutionary cultural experience to the Soviet ideological space was the expansion of the semantic field of the key concepts *democratic* and *revolutionary* with the help of added context. The added context made any phenomenon of pre-revolutionary culture look “*proletarian*”, especially those ones which could justify continuity between the “Soviet present” and the “Russian past”. Also, this context divided the cultural tradition into “good past” and “bad past”. Moreover, it caused the emergence of oxymorons in the language that brought together very opposite ideas, such as, for example, “noble revolutionaries”. However, despite the internal inconsistency of Pushkin's Soviet discourse, as evidenced by the oxymoronic nature of its basic concepts, the aim of the “Sovietization” of Pushkin was successfully achieved through the purposeful use of linguistic means.

REFERENCES

1. Grigor'ev, A.A. (1915) *Vzglyad na russkuyu literaturu so smerti Pushkina* [A look at Russian literature since Pushkin's death]. Vol. 6. Moscow: Tipolitografiya t-va I. N. Kushnerev i K°.
2. Kirpotin, V.Ya. (1937) Nasledie Pushkina i kommunizm [Pushkin's legacy and communism]. In: Gorky, M. et al. *A.S. Pushkin. 1837–1937. Pamyatka. Stat'i i materialy dlya doklada* [A.S. Pushkin. 1837–1937. Memo. Articles and materials for the report]. Leningrad: Goslitizdat. pp. 42–158.
3. Besancon, A. (1984) *Russkoe proshloe i sovetskoe nastoyashchee* [Soviet Present and Russian Past]. Translated from French by A. Babich. London: Overseas Publication Interchange LTD.
4. Klemperer, V. (1998) *Yazyk Tret'ego reykh: Zapisnaya knizhka filologa* [The Language of the Third Reich: A Philologist's Notebook]. Translated from German by A.B. Grigor'ev. Moscow: Progress-Traditsiya.
5. Altunyan, A. (2000) *Lingua Tertii Imperii versus Lingua Sovietica* (“*Esli dve delayut odno i to zhe...*”) [Lingua Tertii Imperii versus Lingua Sovietica (“If two do the same thing ...”)]. *Znanya*. 8. pp. 192–201.
6. Kartsevskiy, S.I. (1923) *Yazyk, voyna i revolyutsiya* [Language, war and revolution]. Berlin: Rus. univers. izd-vo.
7. Dobrenko, E. (2014) Linguistic turn à la Soviétique: The Power of Grammar, and the Grammar of Power. In: Petrov, P. & Ryazanova-Clarke, L. (eds) *The Vernaculars of Communism: Language, Ideology and Power in the Soviet Union and Eastern Europe*. London; New York: Routledge. pp. 19–39.
8. Sandomirskaya, I. (2006) Yazyk-Stalin: “Marksizm i voprosy yazykoznavaniya” kak lingvisticheskiy povorot vo vselennoy SSSR [Language and Stalin: “Marxism and the Issues of Linguistics” as a Linguistic Turn in the USSR Universe]. In: Lunde, I. & Roesen, T. (eds) *Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia*. Bergen: University of Bergen. pp. 263–291.
9. Pavlovets, M. (2016) Shkol'nyy kanon kak pole bitvy. Chast' pervaya: istoricheskaya rekonstruktsiya [School Canon as a battlefield. Part One: Historical Reconstruction]. *Neprikosnovennyy zapas. Debaty o politike i kul'ture*. 2. pp. 73–92.

10. Murav'eva, O.S. (1995) *Obraz Pushkina: Istoricheskie metamorfozy* [The Image of Pushkin: Historical Metamorphoses]. In: Virolaynen, M.N. (ed.) *Legendy i mify o Pushkine* [Legends and Myths about Pushkin]. Moscow: Akademicheskii proekt. pp. 113–133.
11. Karpenko, G.Yu. & Karpenko, L.B. (2016) “Jubile” Language Cliches About Pushkin, or a Poet in the Service of the State. *Vestnik Samarskogo universiteta. Istoriya, pedagogika, filologiya – Vestnik of Samara University: History, Pedagogics, Philology*. 4. pp. 72–79.
12. Lunacharskiy, A.V. et al. (eds) (1929–1939) *Literaturnaya entsiklopediya: v 11 tomakh* [Literary Encyclopedia: in 11 volumes]. Moscow: Izdatel'stvo Kommunisticheskoy akademii; Sovetskaya entsiklopediya; Khudozhestvennaya literatura.
13. Meshcheryakov, N.L. (ed.) (1928–1931) *Malaya sovetskaya entsiklopediya: v 10 t.* [Small Soviet Encyclopedia: in 10 volumes]. Moscow: OGIZ RSFSR.
14. Bezymenskiy, A. (1928) *Komsomoliya. Stranitsy epopei* [The Land of Komsomolia : Pages From an Epic]. Moscow; Leningrad: GIZ.
15. Mayakovskiy, V.V. (1959) *Polnoe sobranie sochineniy: v 13 t.* [Complete works: in 13 volumes]. Vol. 12. Moscow: Khud. lit. pp. 164–170.
16. Proskuryakova, E.F. (2014) Printsipy komplektovaniya bibliotek knigami [Principles of library book acquisition]. In: *Trudy pervogo bibliotchnogo s"ezda RSFSR. 1–7 iyulya 1924 goda. Izbrannye materialy* [Proceedings of the First Library Congress of the RSFSR. July 1–7, 1924. Selected materials]. St. Petersburg: National Library of Russia. pp. 139–151.
17. Krupskaya, N.K. (2014) Zaklyuchitel'noe slovo [Closing remarks]. In: *Trudy pervogo bibliotchnogo s"ezda RSFSR. 1–7 iyulya 1924 goda. Izbrannye materialy* [Proceedings of the First Library Congress of the RSFSR. July 1–7, 1924. Selected materials]. St. Petersburg: National Library of Russia. pp. 23–37.
18. Blagoy, D. (1928–1931) Pushkin Aleksandr Sergeevich [Aleksandr Sergeevich Pushkin]. Meshcheryakov, N.L. (ed.) *Malaya sovetskaya entsiklopediya: v 10 t.* [Small Soviet Encyclopedia: in 10 volumes]. Vol. 7. Moscow: OGIZ RSFSR. pp. 62–66.
19. Pospelov, G. (1939) Turgenev. In: Lunacharskiy, A.V. et al. (eds) *Literaturnaya entsiklopediya: v 11 tomakh* [Literary Encyclopedia: in 11 volumes]. Vol. 11. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. pp. 419–439.
20. Popov, P. & Yunovich, M. (1939) Tolstoy L.N. [L.N. Tolstoy]. In: Lunacharskiy, A.V. et al. (eds) *Literaturnaya entsiklopediya: v 11 tomakh* [Literary Encyclopedia: in 11 volumes]. Vol. 11. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. pp. 301–345.
21. Blagoy, D. (1930) Derzhavin. In: Lunacharskiy, A.V. et al. (eds) *Literaturnaya entsiklopediya: v 11 tomakh* [Literary Encyclopedia: in 11 volumes]. Vol. 3. Moscow: Izdatel'stvo Kommunisticheskoy akademii. pp. 205–221.
22. Pereverzev, V. & Riza-Zade, F. (1930) Dostoevskiy F.M. [F.M. Dostoevsky]. In: Lunacharskiy, A.V. et al. (eds) *Literaturnaya entsiklopediya: v 11 tomakh* [Literary Encyclopedia: in 11 volumes]. Vol. 3. Moscow: Izdatel'stvo Kommunisticheskoy akademii. pp. 396–410.
23. Lelevich, G. (1932) Lermontov. In: Lunacharskiy, A.V. et al. (eds) *Literaturnaya entsiklopediya: v 11 tomakh* [Literary Encyclopedia: in 11 volumes]. Vol. 6. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya. pp. 285–301.
24. Timofeev, L. (1932) Lomonosov. In: Lunacharskiy, A.V. et al. (eds) *Literaturnaya entsiklopediya: v 11 tomakh* [Literary Encyclopedia: in 11 volumes]. Vol. 6. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya. pp. 559–565.
25. Tumskeya, E. (ed.) (1923) *Krepostnoe pravo: Sbornik rasskazov dlya detey starshego vozrasta* [Serfdom: Collection of stories for older children]. Moscow; Petrograd: Gos. izd-vo.
26. Gorky, M. et al. (1937) *A.S. Pushkin. 1837–1937. Pamyatka. Stat'i i materialy dlya doklada* [A.S. Pushkin. 1837–1937. Memo. Articles and materials for the report]. Leningrad: Goslitizdat.
27. Trotskiy, L. (1926) *Sochineniya* [Writings]. Vol. 17 (1). Moscow; Leningrad: Gosizdat. pp. 240–241.
28. Poznanskiy, V.S. (1972) *Sibirskiy krasnyy general* [Siberian Red general]. Novosibirsk: Nauka.
29. Nikitin, E.N. (2020) *Sovetskiiy graf – Aleksey Tolstoy* [Soviet Count – Alexei Tolstoy]. Moscow: Dekom.
30. Shmelev, S.A. (2015) Krasnoe “komsomol'skoe rozhdestvo” i problema formirovaniya novogo byta v nachale 1920-kh godov [Red “Komsomol Christmas” and the problem of the formation of a new way of life in the early 1920s]. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk*. 17 (3). pp. 92–99.
31. Gor'kiy, M. (1963) *Sobranie sochineniy v 18 t.* [Collected works in 18 volumes]. Vol. 18. Moscow: Goslitizdat. pp. 253–285.
32. Savina, T.V. (2017) “Proletarii” i “burzhui”: inoyazychnaya politicheskaya leksika v krest'yanskikh “pis'makh vo vlast'” 1920-kh godov [“Proletarians” and the “bourgeois”: foreign political vocabulary in peasant “letters to the authorities” of the 1920s]. *Rossiya XXI vek*. 6. pp. 104–117.
33. Andreevskiy, I.E., Arsen'ev, K.K. & Petrushevskiy, F.F. (eds) (1899) *Entsiklopedicheskiy slovar' Brokgauza i Efrona* [Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary]. Vol. 27. St. Petersburg: Semenovskaya Tipolitografiya. pp. 436–437.
34. Khodakov, V.Ya. (1938) Biografiya Suvorova [Biography of Suvorov]. *Detskaya literatura*. 17. pp. 54–58.
35. *Pionerskaya pravda*. (1936) 79. pp. 2, 4.
36. Khrapchenko, M., Tseytlin, A. & Nechaeva, V. (1935) Pushkin A.S. [A.S. Pushkin]. In: Lunacharskiy, A.V. et al. (eds) *Literaturnaya entsiklopediya: v 11 tomakh* [Literary Encyclopedia: in 11 volumes]. Vol. 9. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya. pp. 378–450.
37. Shchegolev, P.E. (1927) Ubiytza Pushkina: Novyy vzglyad na istoriyu dueli [Pushkin's killer: A new look at the history of the duel]. *Vechernyaya Moskva*. 234, 235.
38. Shchegolev, P.E. (1927) Ubiyttsy Pushkina [Pushkin's killers]. *Minuvshie dni*. 1. pp. 111–130.
39. Bochacher, M. (1935) Radishchev. In: Lunacharskiy, A.V. et al. (eds) *Literaturnaya entsiklopediya: v 11 tomakh* [Literary Encyclopedia: in 11 volumes]. Vol. 9. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya. pp. 492–499.
40. Lavretskiy, A. (1937) Saltykov-Shchedrin. In: Lunacharskiy, A.V. et al. (eds) *Literaturnaya entsiklopediya: v 11 tomakh* [Literary Encyclopedia: in 11 volumes]. Vol. 10. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. pp. 502–530.
41. *Pionerskaya pravda*. (1925) 38. p. 5.

Received: 17 August 2021